Некрасов.

15/VII-87
15/VII.87

2 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 1987 - 15 июля №29

НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ

Николай СКАТОВ

Перечитывая Некрасова

По традиции в июле начинается Всесоюзный Некрасовский праздник поэзии. Что нового в нашем сегодняшнем восприятии творчества и личности великого русского поэта?

ДОВОЛЬНО давно, еще до революции, вышла одна из первых тогда о Некрасове книг известного в дальнейшем литературоведа, посвятившего поэту всю свою долгую работу, многое разыскавшего, раскопавшего, учредившего. В частности, утвердившего и важную традицию дотошных изучений и комментирований и в то же время достойных, бесспорных, но довольно вялых и многословных общих характеристик, все расползавшихся и расползавшихся.

Консервативный, потом чаще стали говорить — реакционный, но яркий и пронзительно талантливый В. Розанов в рецензии на эту «первую ласточку» мрачно прогнозировал: «О Некрасове будут появляться именно книги, усиливающиеся более закрыть и скрыть, нежели объяснить его, стесать острые углы, чтобы не выпячивался. Хоронят одно из самых ярких явлений не столько даже русской литературы, сколько культуры и просто русской жизни».

Любопытно, что совсем с другой стороны В. И. Ленин, в своих литературных характеристиках обычно вскрывающий прежде всего социально-политическую суть явления (вспомним его статьи о Льве Толстом), в случае с Некрасовым обратился и к личности: «Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского». Не уверен, что мы до конца поняли эту так часто повторяемую формулу: впрочем, частота повторения, как правило, обратно пропорциональна глубине понимания.

Итак: **лично слабым.**

Между тем совсем лично не слабый Добролюбов признавался Некрасову, что видит в нем одного из самых сильных людей, каких только знает, а сам Чернышевский писал Некрасову: «Силы ваши огромны...» И в третьем лице: «Он был великодушный человек сильного характера... Человек с сильной волей...» Чернышевский же — А. Н. Пыпину 14 августа 1877 года: «...если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека». «...Люблю, — скажет о Некрасове Лев Толстой, — не любовью, а любованьем». Даже не любивший поэта «любовью» Лев Толстой не смог не залюбоваться этим ослепительно ярким и могучим явлением нашей жизни.

Некрасов прошел испытание бедностью и искушение богатством. Он начинал в петербургской трущобе, а потом покупал за бешеные деньги родовое имение князей Голицыных (знаменитая теперь его именем Карабиха) и содержал для нечастых охот постоянно охраняемые громадные угодья в Новгородской губернии. «Он был страстный человек и «барин», этим все и сказано», — определил Некрасова с какой-то своей, особой стороны Александр Блок.

Зоркий глаз охотника не изменял ему и в литературе. Ведь это Некрасов, редактор и издатель, «вывел в люди» чуть ли не всю русскую литературу второй половины века: нашел и сразу напечатал Льва Толстого, обнаружил и представил Белинскому как «нового Гоголя» Федора Достоевского, вызвал из долгого забытья Федора Тютчева. А Добролюбов? А Чернышевский? А Фет? А вся почти демократическая проза? И здесь же молодой Случевский... В пору болезни Некрасова соредактор его по «Отечественным запискам» Салтыков-Щедрин напишет: «...без него мы все — мат».

Могучая личность и редкостный ум Некрасова подчиняли себе почти всякого, с кем он имел дело. Достоевский точно ощутил в некрасовской стихии то, что сам же назвал настоящим духом и тоном Байрона. Недаром образ некрасовской личности так волновал его воображение («Подросток»). Тем более что они — поэт и писатель — явили и два противоположных типа людей, ставивших на карту: отчаянный безудерж бросал в бездну Достоевского-игрока, а железное волевое начало почти неизменно держало на гребне удачи и успеха игрока Некрасова. «Миллион, — писал Достоевский, — вот демон Некрасова!». И он же объяснял причины, таившиеся как раз в могуществе личности поэта. «Это был демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной и независимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы... Это была жажда мрачного, угрюмого, отъединенного самообеспечения, чтобы уже не зависеть ни от кого... Такого ли *самообеспечения* могла жаждать душа Некрасова, эта душа, способная так отзываться на все святое и не покидавшая веры в него». Впрочем, Достоевский — народный писатель (то есть писатель, для которого идея народа была основной спасительной идеей), говоря о Некрасове, точно определил, каким самообеспечением спасался Некрасов, призвав одного свидетеля: «Этот свидетель — народ. То есть любовь его к народу!.. я о том только скажу, что мне ясно, почему Некрасов так любил народ, почему его так тянуло к нему в тяжелые минуты жизни, почему он шел к нему и что находил у него. Потому... что любовь к народу была у Некрасова как бы *исходом его собственной скорби по себе самом*. Поставьте это, примите это — и вам ясен весь Некрасов, и как поэт и как гражданин».

ВЕЛИКИЙ психиатр нашей литературы тогда не мог знать о таких пробах и анализах, которые подтверждали бы точность его диагноза. Позднейшим поколениям они обычно становятся известными.

Письма. Вот одно — 1857 года. Некрасов — Толстому: «Хорошо ли, искренно ли, сердечно ли (а не умозрительно только, не головою) убеждены Вы, что цель и смысл жизни — любовь? (в широком смысле). Без нее нет ключа к собственному существованию, ни к сущ. других, и ею только объясняется, что самоубийства не сделались ежедневным явлением. По мере того как живешь — умнеешь, светлеешь и охлаждаешься, мысль о бесцельности жизни начинает томить, тут делаешь посылку к другим — и они, вероятно (т. е. люди в настоящем смысле), чувствуют то же — жаль становится их — и вот является любовь. Человек брошен в жизнь загадкой для самого себя, каждый день его приближает к уничтожению — страшного и обидного в этом много! На этом одном можно с ума сойти. Но вот Вы замечаете, что другому (или другим) нужны Вы — и жизнь вдруг получает смысл, и человек уже не чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности, и так круговая порука. Все это я выразил очень плохо и мелко — что-то не пишется, но авось Вы ухватите зерно. Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя, как единицу — и Вы придете в отчаяние».

Эти нравственные принципы суть основание всей поэзии Некрасова. Ведь его истинно национальный эпос и есть своеобразная «круговая порука». Да и лирика его являет новый тип именно русской лирики, потому что почти вся основана на «посылке к другим». В других, а по конечному, по самому последнему счету — в **народе**, увидено собственное спасение. «Народ, — сказал Достоевский, — был настоящею внутреннею потребностью его не для одних стихов. В любви к нему он находил свое оправдание. Чувствами своими к народу он возвышал дух свой». Вот исток и объяснение кровного родства Некрасова с народным духом и народной судьбой. Да, здесь не так называемая народная тема, удачно решенная, а — судьба, вопрос собственной жизни и смерти. Потому-то Некрасов и возводил свое страдание в сострадание, а чувства разрешал в сочувствии. Это стало его исторической миссией человека и гражданина, отчетливо осознанным призванием: «Я призван (!) был воспеть твои страданья, терпеньем изумляющий народ!» И теми же уже предсмертными словами — о себе: «Усни, страдалец терпеливый!» Ведь он и сам был человеком изумляющего терпения. Он сказал однажды: «...я о себе был всегда такого мнения, что все могу выдержать». Он все выдержал: и нищету, и богатство, пережив тяжесть первого и поняв тщету второго. И вытерпел страшные муки последней болезни, то есть не просто вытерпел (куда здесь денешься), а перевел и этот страшный жизненный, а вернее, уже смертный опыт в стихи своих «Последних песен», до конца продолжая напоминать, по выражению Бальмонта, что, пока мы все дышим, есть люди, которые задыхаются.

Но и улыбаться, и смеяться, и радоваться он тоже если и умел, то никогда почти наедине, но только с народом и в народе. Всегда и во всем. Даже нововременец В. Розанов засвидетельствовал, что Некрасов был на месте, когда строилась идеологическая и словесная предпосылка к революции, по-русскому — к «смуте».

ОДНАКО что же значат ленинские слова: «будучи лично слабым... колебался...»? Конечно, для революционера ленинского типа способность колебаться, раздваиваться представала как личная слабость. А при всей силе характера цельным человеком Некрасов не был. «Некрасов, — сказал Достоевский, — есть русский исторический тип, один из крупных примеров того, до каких противоречий и до каких раздвоений, в области нравственной и в области убеждений, может доходить русский человек в наше печальное, переходное время. Но этот человек остался в нашем сердце. Порывы любви этого поэта так часто были искренни, чисты и простосердечны! Стремление же его к народу столь высоко, что ставит его как поэта на высшее место. Что же до человека, до гражданина, то, опять-таки, любовью к народу и страданием по нем он оправдал себя сам и многое искупил, если и действительно было что искупить...»

Видимо, потому же поэта неудержимо влекло к цельным образам героев («Пророк»). И эта же жажда цельности, законченности, полноты бытия, соединения и разрешенности всего привели к образу-идее, которой обязана Некрасову вся русская культура, да и вся жизнь русская. Здесь ему, кажется, никто не предшествовал, даже Пушкин. У довлевшего себе Пушкина, очевидно, не было в этом внутренней необходимости. Мы часто и привычно уже повторяем: «Пушкин наше все». Однако в этом всем Пушкина было одно исключение. Оно-то и стало для Некрасова всем. Мать! У Некрасова это действительно такое все, что свело к себе личное и народное, национальное и всемирное, человеческое и божеское. Одно пояснение на совершенно хрестоматийном примере. Так, в поэме «Кому на Руси жить хорошо» не просто создан, как обычно пишут, образ матери (часть «Крестьянка»). Ничего там не понять, если не увидеть материнство как чувство всеохватное, всепроникающее, людское и природное. Потому-то, скажем, глава о смерти мальчика Демушки начата своеобразной интродукцией — картиной природы: мать-птица рыдает по своим сгоревшим птенцам-детям. Потому-то следующая глава о материнском самоотвержении названа «Волчица»: в беспощадно правдивых картинах образы матери-волчицы и матери-человека, оставаясь реальнейшими сами по себе, просвечивают друг друга и сливаются в некий символ. Потому-то сама крестьянка в тоске и душевном смятении обращается к образу покойной матери, в молитве своей призывает «заступницу», «матерь божию». А в минуту высшего напряжения духовных и физических сил сама разрешается от бремени, давая новую жизнь. В поэзии Некрасова мать — безусловное, абсолютное начало жизни, воплощенная норма и идеал ее. В этом смысле мать есть главный «положительный» герой некрасовской поэзии. Мать — последнее прибежище перед лицом всех потерь, утраты самой музы, перед лицом самой смерти. И мать утешает, прощает, отпускает:

Еще вчера людская злоба
Тебе обиду нанесла;
Всему конец, не бойся гроба!
Не будешь знать ты больше зла!
Не бойся клеветы, родимый,
Ты заплатил ей дань живой,
Не бойся стужи нестерпимой:
Я схороню тебя весной.

Мать наделена здесь прерогативами божества, всевластием абсолютным, по сути, происходит обращение к «богу» в образе матери, ибо так утешать, прощать, отпускать может лишь бог.

Таким образом, в поэзии Некрасова есть некая восходящая триада развития образа — даже шире — идеи матери: мать, мать-родина, мать-бог. Подобное движение есть и в процессе создания образа — и шире — идеи героя: приятель, гражданин, пророк. При этом происходит своеобразное возвращение к «наивностям» «первоначального христианства с его демократически-революционным духом», о котором говорил В. И. Ленин.

Конечно, для Некрасова бога как такового, в церковно-православном представлении, не существовало. Тем более не приходится говорить о чем-то, складывающемся в религиозную концепцию. И все же в последних стихах Некрасова мы видим поиски абсолютного утверждения перед лицом абсолютного отрицания — смерти.

И если, например, в поэме «Мать» успокаивает и утешает ее поэт, то в стихотворении «Баюшки-баю» это делает она. Он утешает здесь, она уже там. Она дарит не обещания чего-то, а разрешение всего:

«Пора с полуденного зноя
Пора, пора под сень покоя
Усни, усни, касатик мой!
Прими трудов венец желанный,
Уж ты не раб — ты царь венчанный,
Ничто не властно над тобой!

Не страшен гроб, я с ним знакома;
Не бойся молнии и грома,
Не бойся цепи и бича,
Не бойся яда и меча,
Ни беззаконья, ни закона,
Ни урагана, ни грозы,
Ни человеческого стона,
Ни человеческой слезы».

Но Некрасов слишком «земной», и есть все-таки последнее земное утешение, «властное» над ним до конца. Без него разрешение всего не разрешение, и «бог» сходит на землю:

«Усни, страдалец терпеливый!
Свободной, гордой и счастливой
Увидишь родину свою,
Баю-баю-баю-баю!»

Недаром именно с Некрасовым исконно подводились под русское сознание главные опоры.

«ОБЫКНОВЕННО, — писал один старый критик, — после Некрасова идешь дальше в своем художественном развитии, и идешь в другую сторону, — но русский юноша, русский отрок именно у него получает первые неизгладимые заветы честной мысли и гражданского чувства».

Приходится сказать, однако, что ныне, по данным просвещенческой статистики, «русский отрок» все меньше обращается к Некрасову и если идет в своем развитии в другую сторону, то уже не после Некрасова, а потому и вряд ли идет дальше. В таких случаях мы чаще всего склонны обвинять поэта: не устарел ли, не отстал ли? А вопрос, может быть, стоит поставить иначе: а не отстал ли «русский отрок» от заданной высоты в своем, иной раз стремительном попятном духовном движении? Может быть, дело не в поэте, а в иной раз расстраивающемся у «русского отрока» механизме солидарности, сочувствия и сострадания. Но не будем винить только юношей и отроков. Сформулированное много лет назад Б. Эйхенбаумом положение сохраняет и для нас, взрослых, всю свою насущность: «Пора показать, что Некрасов — сложная и живая историко-литературная проблема, для уяснения которой, несмотря на существование всяких специалистов, облюбовавших себе эту «легкую» тему, сделано очень мало».

ЛЕНИНГРАД